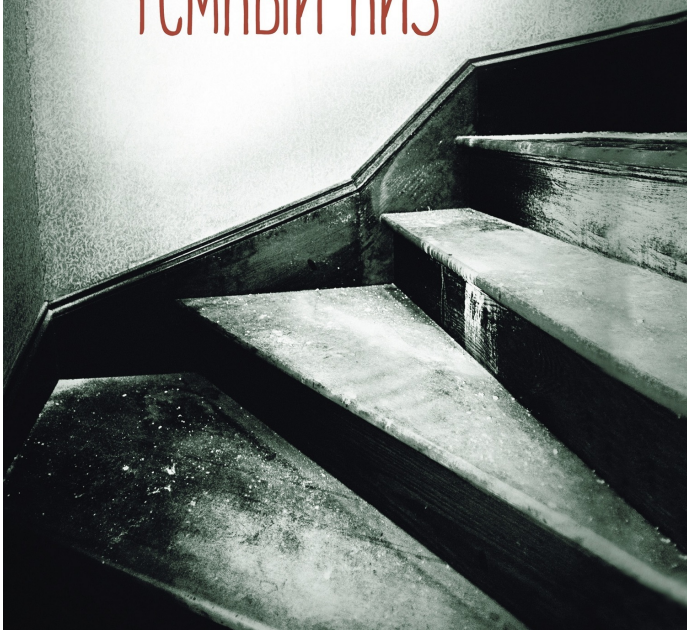


Марина Аромштам

Белый верх –
тёмный низ



Марина Семеновна Аромштам

Белый верх – темный низ

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36308828

Белый верх – темный низ: Новое литературное обозрение; М.; 2018

ISBN 978-5-4448-1025-5

Аннотация

Мир детства – прежде всего самые близкие: родители, бабушки, дедушки, их интересы, их отношения, их рассказы и наставления. Понимание приходит позже, а тогда это только прислушивание мимоходом, удивление, недоумение... Это и бытовые повседневные вещи, которые позже вспоминаются с ностальгией или с отторжением, но почти всегда с неувядающей яркостью. В этой автобиографической, очень искренней книге подробно, с характерными и хорошо узнаваемыми деталями описывается советское детство. Но занимает М. Аромштам прежде всего другое – «как взрослые в это самое время молчали. Как у них не было сил что-либо говорить о себе. Как у них не было понимания, что с ними произошло. Как у них для этого не было языка. Как они хотели забыть все, что можно забыть...». В их недомолвках открывается драма нашей общей истории, продолжение которой автор находит и в своей жизни. М. Аромштам (р. 1960) – писатель, педагог, журналист, переводчик, автор книг для детей и взрослых. Произведения, адресованные

подросткам, отмечены премиями «Заветная мечта», «Ясная поляна», «Маленький принц».

Содержание

От автора	6
Предисловие	8
1	9
2	28
3	43
4	58
5	68
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Марина Аромштам

Белый верх – темный низ

© М. Аромштам, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

* * *

Моим взрослым сыновьям, Иосифу и Григорию

От автора

Я, конечно, знала, что мои бабушки и дедушки прожили «непростую жизнь». И что у мамы с папой было «трудное детство». Но долгое время все это не имело ко мне никакого отношения. Все это «было в прошлом» – за границами моего собственного существования.

И когда я взялась за эту книжку, то думала, что напишу смешные истории о вещах – о детских лифчиках и ботинках с галошами, о том, как я, ребенок шестидесятых, слушала радиопередачу «Приходи, сказка!» и училась заряжать пленку диафильма в диапроектор... Конечно, родители как-то в этом участвовали: мама и папа не могут не быть персонажами твоего детства. И бабушка с дедушкой – те, что дожили до «твоего» времени, – тоже...

Но в какой-то момент меня пронзила простая мысль – даже не мысль, а внезапное понимание: их собственная жизнь началась совсем не в тот момент, когда я училась застегивать детский лифчик и мечтала о резиновых сапогах!

Они *продолжали* жить. Их настоящее – переплетенное с моей жизнью – вытекало из прошлого и не было от него отделено. Это прошлое что-то сделало с моими бабушками и дедушками, с моими родителями. Их страхи и предрассудки настигли меня как волны нашей общей истории – пусть они и молчали о многом.

Тогда я поняла, что нужно писать не столько о вещах, лифчиках и диафильмах, сколько о том, как взрослые в это самое время молчали. Как у них не было сил что-либо говорить о себе. Как у них не было понимания, что с ними произошло. Как у них для этого не было языка. Как они хотели забыть все, что можно забыть...

И как я в результате стала маленьким монстром, обитавшим в аду счастливого пионерского детства.

В том, чтобы так думать о себе и о своих родных, мало приятного. Скажу больше: это довольно болезненно. Но нет другого способа расколдоваться – только взглянуть на себя в пыльное зеркало своей личной истории и сказать: да, так и было.

Не совсем понятно, как из всего этого выбирать.

Но для начала надо хотя бы признать...

Вот об этом и книжка.

Предисловие

А я говорю: не клянись вовсе... ни небом... ни землею... ни Иерусалимом; ни головою твоею не клянись...

Евангелие от Матфея

В 1991 году на территории Англии, в долине реки Нин, недалеко от деревни Стэнвик в графстве Нортгемптоншир, археологи обнаружили древнее захоронение. Это открытие считали большой удачей – и в силу возраста захоронения (примерно III–IV век нашей эры), и в силу целостности останков: могилы и их содержимое – самое красноречивое свидетельство жизни живых, их обычаев и представлений.

Нортгемптонширская находка содержала загадку: скелет захороненного человека лежал в могиле «лицом» вниз, а между челюстными костями черепа был вставлен небольшой плоский камень. Видимо, умерший при жизни был лишен языка.

Но древние обряды, предположили археологи, могли требовать, чтобы тело, предаваемое земле, было «целостным», и вместо отсутствующего языка умершему положили камень.

Вдруг ему на том свете придется отвечать на вопросы?..

1

«Мир начался с меня» – вот главное ощущение детства с момента, когда ты себя уже помнишь.

Мама, папа, бабушки, дедушки (присутствующие, отсутствующие) – это все обстоятельства твоей жизни, возникшие вместе с тобой. Можно сто раз повторить: «Они были и до тебя» и «Они тоже были когда-то маленькими». Непонятно, что именно это значит. Ты совершенно не чувствителен к знанию, что их жизни «перетекли» в настоящее и вплетены в твою жизнь, и что их прошлое – часть вашего общего настоящего. Что их прошлая жизнь что-то делает и с тобой...

На вопрос «Когда ты родился?» тебе в голову не придет ответить: «Через пятнадцать лет после Второй мировой войны».

Через семь лет после смерти Сталина.

Через год после того, как собачки Белка и Стрелка слетали в космос. (И вернулись обратно! – в отличие от других собачек, отправленных в космос до них. Это значило, что вот-вот наступит очередь человека. И очередь новых ракет и новых боеголовок...)

Тебе показалось бы странным заниматься такой арифметикой, пусть ты уже и умеешь неплохо считать. Семь лет – это целая жизнь! Тебе самому недавно исполнилось восемь (десять или двенадцать), и все случившееся «до тебя» было

в «другое время».

На вопрос «Когда ты родился?» ты называешь число и месяц – «мое деньрождение». Этот день и есть точка отсчета времени, и окружающие будто бы соглашаются с этим, соглашаются ненадолго признать твою исключительность. И дарят тебе подарки. «Деньрождение» – день исполнения твоих заветных желаний...

Правда, годам к шести ты уже понимаешь, что с желаниями все обстоит не так просто. Что желания могут быть правильными и неправильными.

Тебе говорят: «Представь, что у тебя есть волшебная палочка. Загадай три желания». И если ты, например, пожелаешь сто порций мороженого или съесть банку варенья... У Николая Носова были такие рассказы. И в детских радиопередачах какой-нибудь персонаж то и дело желал съесть сто порций мороженого или целую банку варенья. За это его подвергали безжалостному осмеянию. А если он ради этой цели «совершал дурные поступки», то авторы передач наказывали его ангиной, постельным режимом и невозможностью погонять во дворе в футбол, то есть разными литературными способами изолировали от веселого и дружного коллектива и обрекали на мучительное одиночество.

Я, правда, не припомню, чтобы в реальной жизни хоть один нормальный ребенок захотел сто порций мороженого. А губительную страсть к варенью я и вовсе не понимала: мы были «городские», без родственников в деревне, и варенье

у нас не варили.

Но разве дело в этом? Истории в детских книжках были «правдоподобными» и с понятным посылом: нельзя желать «просто так», слишком много и для себя.

Я никогда не попадалась в ловушку. Я сразу понимала, что меня хотят испытать. Это была заслуга мамы. Она подготовила меня к подобным испытаниям.

Вот мы с ней идем куда-нибудь в магазин (мне лет семь или восемь), и она говорит:

– Я читала такую книжку... Ее написал Чуковский (Макаренко). Он считал, что детям надо все объяснять. С детьми надо разговаривать. Тогда у них развивается речь. Ребенку с развитой речью будет легко учиться.

То есть мама в буквальном смысле «обнажала прием».

А я слушала, слушала про Чуковского и Макаренко! Чуковский собрал смешные детские выражения, и получилась книга «От двух до пяти». (Мама приводила из нее какие-нибудь примеры.) Одно время мама, как и Чуковский, записывала за мной разные выражения. Но у нее было мало времени. А выражений моих могло бы хватить на книгу...

Педагог Макаренко работал с бывшими беспризорниками. Они грабили и воровали, пока к нему не попали, но он всех перевоспитал. И мама рассказывала, как беспризорников приучали к самообслуживанию и как они ели за столами, покрытыми белыми скатертями...

Мне нравилось думать, что вот: мы с мамой идем, разго-

вариваем, и от этого у меня развивается речь. А это так полезно...

И когда мама говорила: «Давай представим, что у тебя оказалась волшебная палочка...», – я всегда радостно соглашалась.

С волшебной палочкой мы «упражнялись» чаще всего. (Иногда мама заменяла волшебную палочку цветиком-семицветиком из сказки про девочку Женю.) И я очень быстро усвоила, что означает «правильно желать вслух». Если ты правильно желаешь вслух, то тебя считают хорошим. А это очень приятно.

Поэтому первое, что я всегда говорила: «Пусть будет мир во всем мире!»

Мама согласно кивала. То, что это было абсолютно правильное желание, доказывала и вывеска, сияющая над крышей красного дома с аркой, на углу Ленинского и Ломоносовского проспектов. Арка вела вглубь квартала «красных домов». В этих домах, объясняла мама, жили ученые и университетские преподаватели. А надпись над крышей сообщала, чем именно они заняты: создают «Атом для мира». Было ясно, что «атом для мира» – это «против войны».

Потом мы с мамой разрабатывали «варианты» и дополняли список: чтобы люди не болели, чтобы никто не умирал. После того как ты пожелал всеобщего благоденствия, можно было «попросить» что-нибудь более частное: чтобы бабушка не болела, чтобы мама и папа никогда не умирали... Такие

желания тоже не считались эгоистичными. И я чувствовала, как они нравятся моей маме.

Когда же моя фантазия истощалась, мы просто запевали:

Против беды, против войны
Встанем за наших мальчишек...
Пусть всегда будет солнце!..

(Муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина)

Мы с мамой шли и пели...

* * *

Пели так часто не только мы с мамой. Все кругом все время пели.

По радио то и дело исполняли какие-то песни. В школе был предмет «пение». В пионерском лагере обязательно проводился конкурс строя и песни. А в школе – чаще без «строя», просто конкурс военной песни. В заводских домах культуры, в районных домах пионеров и тем более в городском Дворце пионеров и школьников были детские хоры. И хоры взрослых тоже были. Например, бабушка Аня, мамина мама, пела в хоре пенсионеров.

Мама не пела в хоре (ее свободное время до моего рождения было потрачено на спектакли самодеятельного студенческого театра). Но пела она при первой удобной возможности:

песни из кинофильмов, песни времен войны, пионерские песни 30-х годов, песни, которые пели дети на праздниках в детском саду (где она проработала большую часть своей жизни), песни Детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения (почему телевидение называлось Центральным – ведь никакого другого не было?), песни Краснознаменного ансамбля Советской армии имени Александрова.

Мама считала, что существуют песни на все случаи жизни. О чем бы тебя ни спросили, что бы тебе ни сказали, ответить всегда можно песней. Мы с ней иногда так играли – получалось весело. И я усвоила, что можно петь не только «правильно» (то есть не фальшивить), а еще и «с чувством»: поешь и представляешь себе что-то связанное с сильными переживаниями. Тогда пение делается «выразительным».

Обычно мне было понятно, какое чувство мама «старается передать»:

весело – грустно,

хорошо – плохо.

А здесь вот звучит «юмористическая нотка»...

Но иногда, без особых причин, мама вдруг говорила:
– А знаешь, как пели в наше время?

«Нас вы-ы-растил Ста-а-лин на благо наро-о-ду...»

(Муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова)

Кроме этой «старой» версии гимна она еще пела про русского и китайца:

Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас!
Плечи расправил простой человек...
Сталин и Мао слушают нас...

(Муз. В. Мурадели, сл. М. Вершинина)

Такая бодрая песня в ритме марша. А припев «Сталин и Мао слушают нас» повторялся через каждые три строчки.

Мама всегда начинала вдохновенно и звонко, будто она – солистка Детского хора Всесоюзного радио, но до конца не допевала и торопилась с итогом:

– Вот как мы тогда пели...

В том, как мама пела про Сталина, было что-то загадочное, какая-то захватывающая тайна.

Хотя в целом принципы мироустройства не вызывали у меня вопросов. Все укладывалось в простую формулу: хорошо – плохо.

Откроем тетрадь в клеточку. Возьмем простой карандаш и линейку. Отсчитаем сверху страницы две клеточки и проведем через нее горизонтальную линию. Это шапка таблицы. Впишем в нее название:

«Надо делать хорошо и не надо плохо!»(Сл. Вл. Маяковского).

Измерим ширину страницы – 22 см. Разделим 22 см на 2. Отметим точкой отрезок длиной 11 см и проведем через точку вертикальную линию.

В левой колонке пишем хорошее, в правой колонке – плохое.

Много – один. Коллективизм – индивидуализм. Большинство всегда право. Индивидуалист никогда не бывает прав. Он – неправильный человек.

Весело – грустно. Бодрость духа – упаднические настроения. (Мама мне иногда говорила: «Что это за упаднические настроения?») Упаднические настроения никуда не годятся. Они превращают личность в «лишнего человека». О жизни «лишних людей» нам известно из литературных произведений. Быть «лишним» очень плохо. Это значит, что человеку просто нет места в жизни!

Коммунисты – фашисты. Если не коммунист – значит, не «наш», «фашист».

Белое – черное.

...Белый верх – темный низ...

Когда я вступила в пионеры, у меня появилась пионерская форма – рубашка с погончиками и металлическими пуговицами и синяя юбка, к которой полагался пионерский ремень (на «золотой» пряжке – рельефное изображение костра). Я не очень нравилась себе в форме. Но она и нужна была для другого. Она нужна была для того, чтобы ты стал частью

единого целого. Чтобы в нужный момент все слились в одно «тело»: «все как один» – белый верх, темный низ.

В школе говорили: «Завтра торжественная линейка, всем приходиться в парадной форме: белый верх, темный низ». Пионерская форма фабричного пошива была не у всех: в отличие от школьной формы, она не была «строго обязательной». Так что некоторые родители позволяли себе на ней экономить. Пионерскую форму заменял «белый верх, темный низ».

Белое – то, что выше пояса. Под белым – пламенное сердце в груди, которое «бьется в такт времени». На белом «алеет» пионерский галстук – символ крови, пролитой «за дело коммунистической партии». И, видимо, той, которой еще суждено пролиться.

Красному очень красиво на белом. Особенно когда красное – кровь.

А темное – лучше не говорить, что там, за темным, скрывается.

Но скрываться не значит отсутствовать...

И если ты умеешь «правильно желать вслух», это не значит, что у тебя нет невысказанных желаний.

* * *

Мы с братом ходили за хлебом. (Мне было четыре с хвостиком, ему – чуть больше двух.) Нам выдавали мелочь и

сумку-авоську. И мы отправлялись к рынку, где стоял хлебный фургон. Нас всегда пропускали без очереди. И еще смотрели так ласково: маленькие – и одни! И знают, что надо купить! Ай да хозяйева, ай, молодцы! Мы забирались по приставным ступенькам в фургон, я отдавала продавщице деньги и говорила: «Дайте, пожалуйста, большую буханку белого и полбуханки черного».

А потом я чуть подросла и походы за хлебом перестали быть приключением. Теперь я ходила обычно одна и меня уже не пускали без очереди.

Однажды почему-то не привезли белых буханок. Я купила полбуханки черного, и у меня осталось 20 копеек, которые мне дали на белый хлеб.

Дорожка сворачивала к дому за газетным ларьком.

Я всегда проходила мимо этого ларька – и когда шла туда, и когда шла обратно. Но сейчас я не просто возвращалась, выполнив поручение. Я как бы и выполнила его – но выполнила не совсем, хотя вины моей в этом не было. Теперь у меня в кармане лежало 20 копеек. И это все изменило. Вдруг изменилась моя способность видеть. Вот иду я мимо ларька, бросаю короткий взгляд – и вижу какие-то дополнительные подробности, вижу за стеклом какие-то вещи, которые раньше не видела. Я вдруг вижу – четко и ясно, – что кроме газет и журналов, конвертов и марок в ларьке продаются цветные карандаши. В такой красивой коробке.

Не просто красивой – красивейшей. На коробке – лисич-

ка. Рыженькая. В сарафане. Сказочная лисичка с высунутым язычком и милыми хитрыми глазками.

И эта коробка лежит близко-близко к стеклу...

Лисичка меня совершенно заворожила. Я встала перед ларьком, просто застыла на месте, и стала смотреть почти не мигая. Коробка была приоткрыта. Специально. Чтобы все видели, как красиво уложены карандаши – в два ряда, ослепляя невозможным многообразием цветов. Особенно фантастическими были белый и розовый. Розовый – представляете? Для чего нужен белый и при каких обстоятельствах можно им рисовать, так и осталось неразрешимой загадкой. Но в тот конкретный момент это было не важно.

Белый, розовый... И остальные. Цвета настоящего счастья. Я представила, как я рисую...

Вообще-то я рисовала плохо. Редко и очень «обычно»: домики с треугольными крышами (в середине окошко, труба справа, колечками дым). Рядом дерево (веточки должны «куститься»). Иногда принцесс в пышных юбках до пят, на голове – пружинки кудрей и корона с «фатой». (Так рисовали все девочки.)

Но, может, я рисовала плохо именно потому, что у меня никогда не было таких замечательных карандашей?

А если бы у меня оказалась коробка с лисичкой... Она стоит 17 копеек...

Тут у меня перед внутренним взором пронеслась вся прошедшая жизнь... Рука дернулась – будто чужая – и протяну-

ла в окошко две монетки по десять копеек...

И вот у меня в авоське лежит полбуханки черного, а другой рукой я прижимаю к груди коробку с карандашами.

Мое движение страшно замедлилось. Коробка с лисичкой не принесла мне счастья. Она как будто бы не признавала во мне свою хозяйку. А у меня в голове со скрипом прокручивалась какая-то заезженная пластинка, и незнакомый голос с разными интонациями произносил:

«Мамочка, хлеба не было. Но зато посмотри, какие прекрасные карандаши. Я решила, что ты не будешь ругаться».

«Мамочка, хлеба не было. Я не успела спросить разрешения. Но это такие хорошие карандаши».

«Мамочка, ты не будешь ругаться? Хлеба не было, были карандаши. И мне так захотелось...»

Последнее, ощущала я всеми фибрами своей души, вообще никуда не годилось: «мне захотелось»!

Мама открыла дверь. Я не помню, что я сказала. Может, и ничего. Мама только взглянула – и, не дав мне раздеться, приказала холодно и отчужденно: «Сейчас же неси назад».

Это было ужасно.

Не то было ужасно, что мне не придется порисовать розовым карандашом. С этой мыслью я смирилась мгновенно. Но ведь надо идти к той же самой тетеньке, продавщице в ларьке! Надо будет что-то ей говорить. Объяснять (объяснять!), что я совершила нечто запретное. Она думала, я действительно покупаю. А я просто взяла и украла 17 копеек... А

вдруг она не возьмет? А вдруг она?..

...Я не помню, как добрела до ларька. Прелесть лисички совершенно померкла. Я уже не могла понять, что в ней было такого... Я протянула коробку в окошко и выдавила из себя: «Извините, возьмите, пожалуйста, мне мама не разрешила...» До сих пор удивляюсь, как эти «извините-возьмите» не застряли у меня в горле. И как это я, протянув в окошко коробку с карандашами, от стыда не упала замертво?

И тогда меня, бездыханную, куда-нибудь понесли бы... И тогда мне бы все простилось...

Продавщица поморщилась и с некоторой брезгливостью взяла у меня коробку.

И вернула 17 копеек...

Через день я снова пошла за хлебом. Теперь мой путь осложнился: нужно было как можно скорее проскочить мимо газетного ларька. Я боялась, что продавщица меня заметит. И узнает – и мне придется выносить ее взгляд...

Но каждый раз краем глаза я все-таки замечала: «Лисичка» еще продается...

Хорошо, что хлебный фургон перестал приезжать. Скоро недалеко, в недавно построенном большом доме, открылась новая булочная.

А я ведь знала, что с этими карандашами все так и будет!

Мама не только заботилась о развитии моей речи. Она еще мне объясняла, почему «так не надо делать». Запрещает что-нибудь – и всегда объясняет, почему запрещает. Ребенок, по мнению мамы, «должен все понимать», а не «слушаться из-под палки».

Вот не хочу я, трехлетняя, уходить с прогулки домой и устраиваю рев. Так и кричу на весь двор: «Не хочу-у-у домой!»

(Еще бы я хотела домой! Мы тогда жили в трехкомнатной коммунальной квартире. В одной комнате – мы: четверо взрослых и двое детей. В соседских комнатах – по семье: четыре и два человека. Из комнаты мне выходить не разрешали, а то можно и с Требуковым столкнуться. Фамилию «Требуков» произносили по-разному. Мама – со страхом, папа – с плохо скрываемым гневом.

Требукова я видела пару раз. Один раз издалека. А второй раз вблизи. Он был огромным, до самого потолка. Во второй раз, хотя мы и оказались рядом, я его толком разглядеть не успела. Я вдруг лишилась точки опоры, и шею сдавило так, что в глазах потемнело: это Требуков поднял меня за шиворот. Когда ноги мои снова коснулись пола, я обнаружила, что стою, уткнувшись носом в закрытую дверь. А Требуков глу-

хо цедит сквозь зубы: «Ваш жжжиии... (тут было неразборчиво) мешается под ногами. Уберите ее отсюда». Мне тогда было три года.)

В общем, я любила гулять и когда меня уводили со двора обратно домой, устраивала рев.

Но на маму мой рев никакого впечатления не производит. Она говорит даже тише обычного:

– Мариночка, плачь – не плачь, слезами делу не поможешь. Домой все равно идти придется.

Принцип «все надо объяснять», утверждала мама с нескрываемым торжеством, в моем случае действовал просто великолепно. Чуть ли не с первого раза. На второй день я уже просто всхлипывала. А на третий сама говорила:

– Плачь – не плачь, слезами не поможешь... – утирала слезы и брела к подъезду.

Так что мама мне все объясняла. По крайней мере, ей казалось, что она *все* объясняет.

* * *

На кнопку дверного звонка нашей новой квартиры мы по привычке нажимали два раза. Так звонили еще в коммунальной квартире: к тете Шуре – один звонок, к Требуковым – три, а к нам – два. Теперь мы жили в «отдельной квартире» (отдельной от соседей) и было понятно: кто бы ни позвонил, это именно к нам. Но два звонка – коротких и с неболь-

шим интервалом между нажатиями кнопки – означали, что звонит кто-то свой. А если звонят по-другому, значит, за дверью чужой.

В этот раз звонил кто-то чужой – уверенно и настойчиво. Мама спросила:

– Кто?

Что-то ей там ответили. Она сначала застыла, потом открыла дверь «на цепочку», выглянула в щелку, снова прикрыла дверь и стала бороться с цепочкой. Дверная цепочка была несложным приспособлением. И обычно проблем с ней не возникало. А здесь она вдруг перестала слушаться. И мама в борьбе с ней покрылась потом. Тому, кто стоял снаружи, пришлось еще раз позвонить. Наконец мама справилась с дверью. Вошел какой-то уверенный в себе человек и попросил разрешения воспользоваться телефоном.

Мама молча кивнула.

Человек набрал номер, что-то быстро сказал (я слышала слово «наряд»), положил трубку и повернулся к маме:

– Спасибо вам за содействие. Мы проводим на рынке облаву. Вы очень нам помогли.

И вышел.

Мама, двигаясь как деревянная, заперла за ним дверь, повернулась, сделала шаг в сторону комнаты – и застыла на месте.

– Сесть...

Это она мне сказала? Я принесла ей стул. Мама неловко села, как будто не понимала, что происходит вокруг. Еще хорошо, что я принесла ей именно стул, со спинкой. А если бы табуретку? У нас были трехногие табуретки...

– И водички, Мариночка...

Я принесла ей воды в темно-зеленой эмалированной кружке. (Дома мы пили из таких кружек. У каждого – своя кружка. Эта была моей.)

Мама даже не поднесла кружку ко рту – просто сидела и держала ее в руках.

Странно так было. Будто мы с ней оказались в каком-то театре. Она – «главная героиня», а я вижу себя «в двух планах» – и «на сцене», и «в зале». Одна стоит рядом с маминым стулом, а другая смотрит на все и ждет, что будет дальше.

– У него была красная книжечка... Они всегда показывали такую красную книжечку...

* * *

В «ее время» был «культличности» Сталина, рассказала мне потом мама.

Тогда людей арестовывали неизвестно за что, за какие-то мелочи. Достаточно было сказать: «У Сталина тоже могли быть ошибки», – и тебя арестуют. И когда приходили кого-нибудь арестовывать, то показывали «такую красную кни-

жечку»...

Тут мама делала паузу, будто она сбилась с мысли. Но эту мысль – неприятную – тут же вытесняла другая. Новая мысль выглядела спасительной, и у мамы светлело лицо:

– А знаешь, что было написано на танках во время войны? «За Родину! За Сталина!» С именем Сталина люди бросались в бой! А в песне, знаешь, как пели?

И мама, взбодрившись, тут же запевала, как будто была солисткой хора Центрального радио и телевидения:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей...

(Муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева)

Когда Сталин умер, люди на улицах плакали. И на работе, и дома. (Мой папа тоже плакал, он сам рассказал об этом маме.) А мама хотя и не плакала, но ходила на похороны Сталина. Она пошла вместе с подругой, потихоньку от бабушки. Возникла ужасная давка, и их чуть не раздавили. Бабушка, мамина мама, страшно потом ругалась: зачем мама туда пошла? Некоторых-то действительно насмерть задавили...

Потом к власти пришел Хрущев, который сажал кукурузу. Состоялся XX съезд партии*. (Понятно, что коммунистической: в «наше с мамой» время не было других партий.) На нем «развенчали культличности»...

На лице мамы опять отражались невнятные чувства...

С тех пор в тексте гимна (*муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова*) больше не было его имени.

Про артиллеристов (*муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева*) теперь пели так: «Артиллеристы, точный дан приказ».

А песню, где «Сталин и Мао слушали нас» (*муз. В. Мурадели, сл. М. Вершинина*), вообще не вспоминали.

В программе «Время» сообщали об «осложнениях на советско-китайской границе». И показывали, как вдоль границы, повернувшись спиной к Китаю (к «Китаю», а не к «Китайской Народной Республике»), цепью стоят советские пограничники и держатся за руки, как в хороводе. А за их спинами колыхается густая человеческая масса. Из этой массы все время высывались руки и толкали пограничников в спину. Казалось, китайцы вот-вот прорвут «хороводную цепь»...

2

...Так что я знала прекрасно, что будет с этими карандашами! Мама же мне объясняла: надо жить экономно, рассчитывать все до копейки. Карандаши не были «предметом первой необходимости».

Как экономить, маму учила бабушка Вера, папина мама. Она умерла, когда мне исполнилось два. Наука бабушки Веры далась маме не без труда. Считалось, что мама пришла из семьи, где цену деньгам не знали. Только мама могла с первой своей учительской зарплаты взять и купить килограмм апельсинов и два спортивных костюма – себе и папе. И бабушка Вера целый вечер проплакала... И это было не раз. Мама тоже плакала...

Но после бабушкиной смерти мама стала верной хранительницей бабушкиных заветов.

Большая буханка белого хлеба стоила 20 копеек, но правильно было бы называть его серым. Были еще белые батоны по 13 копеек. 20 больше 13. Но батон дороже буханки – он меньше, белее и мягче. Значит, вкуснее, и, значит, его быстрее съедят. Это неэкономно.

Правда, похоже на задачку повышенной сложности? Тут недостаточно знать правила арифметики.

Неэкономно срезать горбушки с обеих сторон буханки: незащищенный коркой хлеб гораздо быстрее сохнет. Так что

горбушку срезаем только с одной стороны.

Неэкономно есть жареную курицу. Курицу надо варить. Тогда получаем и первое, и второе. Но и куриный бульон не едим. (Куриный бульон полагается только больным.) На бульоне (чаще мясном, мясо дешевле курицы) обязательно варим суп. Для супа не нужен концентрированный бульон. Наливаешь больше воды – получаешь больше еды. А чтобы возникло ощущение сытости, суп едим обязательно с хлебом.

...Всё едим с хлебом – макароны, картошку, кашу: без хлеба еды не бывает.

Двоюродная сестра папы пережила блокаду. Папа произносил: «Тетя Флора – блокадница», – как если бы он говорил: «Тетя Флора – святая». И время от времени кто-то из взрослых обязательно говорил: «Ленинградцам во время блокады в день выдавали 125 граммов хлеба». Это кусочек размером с ладошку маленького ребенка. За этими граммами часами стояли в очереди...

Я очень сочувствовала ленинградцам. Но я не любила «есть с хлебом».

Пока ты несешь хлеб домой, тебе так и хочется вонзить зубы в теплую мякоть (это, естественно, категорически запрещалось. И вообще нельзя есть на улице. Ты ешь – а все смотрят...). А дома хлеб терял всякую привлекательность.

Мама могла иногда сказать: «Ну ладно, это – мучное, и это – мучное».

Но с бабушкой, маминой мамой, это не проходило. Ба-

бушка, мамина мама, жила отдельно от нас. А когда приезжала, то всегда садилась смотреть, как мы с братом едим. Не есть с нами садилась, а именно смотреть: как двигаются ложки, сколько мы набираем супа. И главное, что там с хлебом:

– Ты почему ешь без хлеба? Что значит «не хочешь хлеб»?

А ну сейчас же кусай! Кусай по-настоящему!

Тут я теряла способность сочувствовать ленинградцам. Я даже думала: 125 граммов – это вообще-то такой нормальный кусок. Вот сейчас он как раз и встанет у меня поперек горла. А бабушка, видимо, не разделяла маминых представлений о том, что детям следует объяснять требования и запреты. Требование есть с хлебом казалось ей безусловным, и она даже не старалась сдерживать возмущение:

– Нет, вы взгляните, она (он) и не думает кусать хлеб!.. Ты что, хочешь с голоду умереть?

А если к бабушкиному приезду в доме заканчивался черный хлеб (мамины отговорки вроде «Я как раз собиралась послать Маринку за хлебом» положения не спасали), бабушка чувствовала, что оказалась на месте преступления.

– У нее нет черного хлеба! – взывала бабушка к неведомому свидетелю, находившемуся где-то под потолком. – Она морит своих детей голодом!..

Слово за слово, голос бабушки усиливался, нарастал... И наконец:

– Мать-убийца! – кричала она на маму так, что мы с братом могли подавиться. Крик почти срывался на визг...

Потом бабушка неожиданно замолкала, уходила в комнату и, некрасиво обмякнув, усаживалась на диван. И сидела, бессильная, уставившись в одну точку.

Бледная мама, не глядя на нас, приказывала:

– Ешьте! Всё, что дают... Всё до последней ложки...

И, отвернувшись, шептала:

– Нервнобольная...

* * *

– Ты не думай, Мариночка: бабушка вовсе не злая. У нее просто расшатанные нервы. В следующий раз мы все сделаем, чтобы она не расстраивалась. Нужно просто с ней во всем соглашаться...

Нужно, чтобы к приезду бабушки у нас был хлеб – белый и черный. И чтобы капуста была. (Мама варила щи.) А как только откроется дверь и бабушка войдет, нужно сразу бежать в прихожую и бабушку обнять. Руки должны быть чистыми, одежда должна быть чистой. Не забыть про чистый носовой платочек. Мы постараемся сделать так, чтобы у бабушки было хорошее настроение...

Ничего не помогало.

– А ну-ка, не улыбайся, – говорила мне бабушка. – У тебя от этого глаза как щелки становятся. И на щеках вот так... *(она показывала руками)* ...некрасивые складки.

Бабушка словно затем и приезжала, чтобы дать волю «нер-

вам». Чтобы сильно расстроиться, чтобы ее накрыло отрицательными эмоциями и сотрясло до основания. А потом она вернется домой – усталая, опустошенная и три недели, а то и месяц будет жить совершенно одна. Ну разве что пару раз сходит на партсобрание...

«Береги свои нервы! – советовала мне мама (когда бабушки не было рядом). – Все болезни – на нервной почве».

У бабушки были гипертония и диабет. Но больше всего она почему-то боялась глаукомы. Одно слово «глаукома» вызывало в ней содрогание, и она сразу торопилась закапать себе в глаза.

В этот момент я испытывала чувство сдержанного превосходства: надо же, так бояться какой-то там «глаукомы»!

Собственно, я и не знала, что это такое...

* * *

Бабушка всегда что-нибудь нам привозила.

Иногда привозила курицу.

И несмотря на страх, что бабушка раскричится, это был маленький праздник: курицу требовалось разделать.

Перья на куриных тушках, как правило, были выщипаны не чисто, и, чтобы избавиться от коротких обломанных кончиков, их опаливали над газом. Одной рукой держишь тушку за лапы, другой – за шею и туда-сюда «возишь» над пламенем. Запах паленой «плоти» был самым неприятным в про-

цессе разделки. Да и куриный жир иногда капал на плиту: приходилось потом ее оттирать...

Но меня занимало другое: я не могла дождаться, когда курицу будут «вскрывать». Бабушка с мамой звали меня посмотреть, «как устроена курица»: «Вот сердечко, вот легкие, а вот это желудочек. А это большое – печеночка. Зеленый мешочек – желчный пузырь. Его нужно срезать осторожно. Разорвется – выльется желчь. Все станет горьким. А это – смотри! – желтенькие яички! Курица их не успела снести!..»

Куриные внутренности назывались исключительно уменьшительно-ласкательными словами, будто они – предмет любования.

А к неснесенным яичкам я вообще испытывала настоящую нежность, как будто в них были спрятаны воображаемые цыплятки.

Потроха потом жарили и делили между мной и братом. Их вкус почему-то всегда странно разочаровывал. Но признаться в разочаровании, конечно, было нельзя. И я делала вид, что мне «вкусно-превкусно».

* * *

Куриный бульон был маленьким праздником. Но чтобы сварить бульон, не нужны особых умений. Была бы курица, как говорится.

Вот бабушка Вера, папина мама, умела готовить из «ни-

чего»! Иногда мама говорила иначе: «Бабушка Вера могла сварить кашу из топора». Маме очень нравилось выражение «каша из топора». (В какой-то момент я наткнулась на сказку про кашу из топора. Эта каша оказалась хитроумным обманом, а вовсе не результатом особого мастерства. Но к бабушке Vere это не относилось.)

Благодаря умению готовить из ничего (мама еще подчеркивала: вкусно готовить!) бабушка Вера и ее дети выжили в эвакуации. (Эвакуация – это когда детей и женщин во время войны отправляют куда-нибудь в безопасное место, подальше от бомбежек.) И мама тут же рассказывала (а иногда и показывала), как превратить воду в суп, бросив туда морковку, обжаренную с луком.

На память о ней и ее волшебном искусстве осталась огромная книга – большущая, толстая, в темно-коричневом переплете. Переплет украшали рельефные виноградные гроздья (их приятно было ощупывать), а среди кудрявой листвы гнездились название: «Книга о вкусной и здоровой пище». Эту книгу на день рождения (уже после войны) бабушке Vere подарили ее сыновья. И будто бы бабушка Вера от этого чуть не расплакалась...

Я обожала «Книгу о вкусной и здоровой пище». Она, с моей точки зрения, вообще не имела никакого отношения к обыденной повседневности. Эта книга относилась к области красоты, к тому, что связано со сказочным словом «яВств»: «И был пир на весь мир. И столы ломились от яВств». (В

сказках «яВства» яВлялись чаще всего по мановению волшебной палочки, которой размахивал некто, не связанный обязательствами загадать три желания «перед лицом своих товарищей».) Горы каких-то фантастических фруктов; овощи, разрезанные на кусочки затейливой формы; консервные банки, выстроенные как на парад; красиво сложенные чистенькие яички; суповые тарелки с каемочками, и над ними вьется парок... Даже схемы разделки туши – отдельно «свиньи» и «коровы» – с цифрами, обозначающими названия разных кусков (там были мелкие буквы, и я это не читала), в книге тоже смотрелись празднично, хотя точно такие же схемы висели в любом гастрономе в отделе «Мясо»...

И я там был, мед-пиво пил... (Натюрморты голландцев впоследствии произвели на меня гораздо меньшее впечатление.)

Книгу мне выдавали смотреть с тысячей оговорок. Папа показывал, как нужно ее листать: ведешь по верхнему краю страницы, затем палец скользит по правому вертикальному краю и наконец добирается до уголка...

Я выполняла все правила пользования книгой. Но кроме меня эту книгу никто и не открывал – с тех пор, как ее подарили бабушке Вере.

Она пару раз пролистнула страницы, взглянула на сказочные картинки, вздохнула и будто бы произнесла:

– Были бы у меня эти продукты... особенно *тогда*... И рецептов не надо. Я бы такое вам приготовила...

И больше бабушка Вера эту книгу не открывала.

Папа тоже готовил без всякой поваренной книги – и простые, и сложные блюда: от омлета с жареным хлебом до фаршированной рыбы.

Он даже придумывал лакомства: возьмет огурец, посыплет слоем сахарного песка и утверждает, что ест арбуз.

Но чем он особенно поражал, так это своей способностью есть даже «несъедобное». Он ел пенки кипяченого молока! Кипяченое молоко заставляли пить в детских «учреждениях», особенно в детском саду. Вкус кипяченого молока и сам по себе не радовал. Но самым ужасным была, конечно, пенка. Как только горячее кипяченое молоко наливали в чашку, его поверхность тут же затягивалась пленкой: словно между тобой и содержимым чашки выростала колдовская преграда. Редко кто не испытывал отвращение при виде пенки. В лучшем случае ее брезгливо снимали ложкой (и эту ложку сразу куда-нибудь откладывали, чтобы она не так бросалась в глаза). Прикоснуться к пенке губами? От этого могло стошнить.

А папа выловит пенку (ухватит пальцами за серединку и вытащит из чашки), положит в рот – и смеется.

И так же спокойно он ел кусочки вареного лука, которые иногда попадались в супе. Будто в расплзшемся луке нет ничего отвратительного. Или как будто в ложке нет никакого лука.



Папа стал что-то рассказывать о своих родных и о детстве, когда дожил до семидесяти лет. И перед этим ему обычно требовалось выпить.

Но ему вспоминалось сложно: воспоминание выскакивало то одним боком, то другим. Да еще над ним, видимо, сильно довлел «канон» – как можно и нужно вспоминать о войне.

...В эвакуации мама, твоя бабушка Вера, варила луковый суп – из мороженого лука. Такая вкуснотища! Знаешь, на что похоже? На кисель. Но несладкий. За этим луком мама ходила на колхозное поле...

...Бабушке с двумя детьми приказали эвакуироваться – уехать из Москвы на «место распределения». Там, куда они прибыли, нечего было есть: продуктовые карточки выдавали по месту работы, а работы на новом месте бабушка не нашла. Не было там работы. Не брали ее никуда. А ей детей кормить надо.

И тогда кто-то надоумил бабушку Веру пойти за луком на колхозное поле.

Был октябрь, считалось, что урожай собрали. А после уборки поле охранялось не очень бдительно. К тому же ударили заморозки. Если что-то там и осталось, то все равно

замерзло.

Поэтому бабушка Вера взяла ведро, детский совочек и пошла на колхозное поле. Накопала полведра лука...

А когда вернулась домой, у нее на груди одежда была разорвана.

Вообще-то бабушка была очень опрятной...

...Бабушка Вера ходила за луком на колхозное поле. То есть ходила этот лук воровать у государства. Смешно, но так считалось. Если б ее поймали, могли и наказать... Но бабушка Вера решила об этом не думать, потому что Зиночка с голода стала есть собственные какашки. Зиночке был всего год. Это папина маленькая двоюродная сестричка. Зиночка и ее мама, бабушкина сестра, были с ними в эвакуации.

Маленький папа помнит, как Зиночка ела какашки. Они слевой стояли рядом и смотрели на Зиночку. Что с нее было взять? Совсем неразумный ребенок. А папе тогда уже было шесть, а Леве исполнилось три. И они, конечно, не стали делать, как Зиночка.

Но есть им сильно хотелось.

И бабушка Вера пошла в поле за луком.

Там ее увидел охранник. Он поднял ружье и направил на бабушку:

– А ну, следуй за мной!

Но бабушка вдруг впала в ярость. Она отпихнула ногой ведро и закричала:

– Лучше сразу стреляй! А дети пусть с голоду сдохнут!

Тогда охранник опустил винтовку и пробурчал сквозь зубы:

– Топай отсюда, мать. Вместе с луком своим. Но чтоб тебя больше здесь не было!

Бабушка Вера вернулась домой и сварила луковый суп. Маленький папа помнит, как некрасиво была разорвана бабушкина одежда. А вообще-то бабушка была такой опрятной...

...Очень хотелось есть. Годовалая Зиночка стала есть собственные кашки. Мама Зиночки это увидела и зарыдала в голос, совсем как на похоронах. Тут даже соседка проявила сочувствие и принесла для Зиночки плошку с кашницей на доньшке. Кашница была совсем жиденькой... А папе и дяде Леве кашницы не принесли. И тогда бабушка Вера отправилась в поле за луком, хотя знала: поймают ее – могут и расстрелять.

Когда она возвратилась, что-то в ней было не так. Она все старалась запахнуть поплотнее кофту. Но маленький папа все же заметил, что под кофтой разорванная одежда. Когда кофта случайно распахивалась, под ней обнаруживался болтающийся клочок. Этот клочок был какой-то страшный. Ведь бабушка Вера всегда одевалась очень опрятно...

Бабушка в поле наткнулась на охранника. Он хотел ее арестовать. Но бабушка не испугалась. Она рассердилась. Ужас-

но. И так рванула одежду на груди, что та затрещала:

– Арестовать? Да подавись своим мороженым луком! А дети пусть с голоду сдохнут!

И тогда охранник сказал:

– Убирайся отсюда, мать. Вместе с луком своим. Но если еще раз увижу...

Бабушка Вера принесла домой полведра лука. И сварила луковый суп. Суп из лука похож на кисель. Это было так вкусно!..

...Охранник наставил винтовку прямо на бабушку, но она разорвала одежду, схватила дуло руками и притянула к груди...

(«– На, стреляй в грудь, которой я младенца кормлю! – крикнула работница.

Солдат выстрелил, работница упала...»

Кажется, это из романа Горького «Мать»?..)

Они бы не выжили в эвакуации, если б не тетя Маня, еще одна бабушкина сестра. Тетя Маня была врачом и работала в это время в госпитале под Рязанью. У тети Мани были дрова и продуктовые карточки. Тетя Маня прислала письмо: пусть они приезжают к ней. Она как-нибудь их устроит.

Ехали на товарняках, с бесконечными пересадками. Если бабушке надо было куда-нибудь отойти, она оставляла детей

караулить узлы. Тут появлялся какой-нибудь незнакомец:

– Дети, мама ждет вас вон там, за углом. Она попросила меня перенести ваши вещи.

– Дети, а я знаю вашу маму. Хотите, я вам помогу?

Но папа и дядя Лева, хотя и были маленькими, этим хитростям не поддавались. Только однажды какая-то тетка утащила их узел. Хотела два утащить. Но они вцепились в мешок, буквально повисли на нем. И тетке не удалось их сбросить.

На станциях бабушке нужно было предъявлять документы. В них было указано место эвакуации, откуда они уехали. Один патрульный взял бабушкины документы, нахмурился и спросил, что бабушка делает на этой станции. И почему она хочет сесть в поезд, который идет совсем не туда, куда нужно по документам?

Он поднял автомат и направил на бабушку:

– Следуй за мной.

Но бабушка даже не сдвинулась с места. Она посмотрела патрульному прямо в лицо и без слов указала ему на детей.

Тогда патрульный сказал:

– Топай отсюда, мать. Я тебя здесь не видел...

Они приехали к тете Мане. Там бабушка стала готовить на всю большую семью. И через год они даже купили козу...

Но мог же патрульный сказать «топай отсюда, мать»? Ведь они все-таки как-то добрались до тети Мани? Зиночка, правда, «выпала» из рассказа.

...Хуже всего этот клочок бабушкиной одежды. Как маленький папа смотрит на бабушку – и как этот клочок болтается...

Да, и эвакуация, эта мера по спасению гражданского населения... Как это все могло быть? В какой-то момент перестаешь что-нибудь понимать...

3

«Не в деньгах счастье».

«С милым и в шалаше рай».

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Мама учила меня использовать пословицы и поговорки. И крылатые выражения. Особенно в сочинениях.

В пословицах и поговорках отложилась *народная мудрость*, накопленная веками (так и в школе нам говорили). Пословицы в сочинениях могут служить доказательством какой-нибудь точки зрения: вот как по этому поводу высказался *народ*! А крылатые выражения – это украшения речи. Если использовать крылатые выражения, речь будет красивой, развитой:

Плывет лебедушкой...

Дышать полной грудью...

Необъятные просторы Родины...

Очи с поволокой...

Широкая душа...

Бескрайние поля...

Знать *народную мудрость* было столь же необходимо, как и иметь правильные желания. Но *народ* иногда считал так, а

иногда – иначе.

Мама довольно часто употребляла такое крылатое выражение: «Он пускает деньги на ветер» (чаще всего почему-то «он»).

Или еще вот такое: «Ему лишь бы сорить деньгами» (тут почему-то тоже фигурировало лицо мужского рода).

Еще мама говорила: «Надо считать каждую копейку».

И «копейка рубль бережет».

Но я не помню, чтобы мама когда-нибудь говорила: «мы живем бедно», «мы бедные».

Она говорила: «Нет денег».

Видимо, потому что к «бедности» не было однозначного отношения. Вокруг нее вообще существовала некоторая путаница.

Бедные были до революции.

Бедные и богатые.

Богатые (в этом никто не сомневался) были плохими людьми. Раз богатый – значит, плохой.

Раньше все было исключительно у богатых. У них были дворцы и наряды, драгоценности, слуги. У них были заводы и фабрики, они владели землей и недрами (полезными ископаемыми). А у бедных не было ничего. Богатые угнетали бедных – заставляли много работать. Люди трудились без отдыха с утра до вечера, иногда – по ночам, а им даже на хлеб не хватало. Если они и ели хлеб, то исключительно черный

(в лучшем случае – серый). А белый они позволить себе не могли. У бедных детей вся одежда была в заплатках, у них не было зимней обуви, им никогда не покупали игрушек...

Все изменилось после Великой Октябрьской социалистической революции.

Слово «социалистическая» надо писать с маленькой буквы, потому что некоторые хорошие страны уже стали на путь правильного развития, такого же, как у нас, и в них тоже произошли социалистические революции. А вот слово «Октябрьская» надо писать с большой буквы. Наша революция произошла в октябре (правда, «по старому стилю»), и это ее отличительная особенность. Ну и, конечно, с большой буквы надо писать «Великая» – это первое слово в названии.

Великая Октябрьская социалистическая революция закончила с несправедливостью. Народ сверг своих угнетателей. У них отобрали земли, заводы, дворцы и недра – и все отдали рабочим, трудящемуся народу. Как именно это произошло, можно было узнать из книг. Малыши могли узнать об этом из сказок «Приключения Чиполлино» и «Три толстяка». (Я хотела быть Суок – цирковой танцовщицей-девочкой из сказки «Три толстяка». Суок была как разведчица. В замке трех толстяков ей пришлось изображать заводную куклу.) А для детей постарше была толстая книга «Таня-революционерка» и другие такие же интересные книги.

И когда богатых (то есть плохих) не стало, остались только... хорошие.

А если у этих «хороших» «нет денег»?..

Вот тут и могла пригодиться та народная мудрость, которая утверждала, что «не в деньгах счастье».

А счастье, конечно, было. О нем каждый день пели по радио такие звенящие, бодрые, оптимистичные песни:

Эх, хорошо в стране советской жить!

Эх, хорошо страной любимым быть!

Эх, хорошо...

(Муз. И. Дунаевского, сл. В. Шмидтгофа).

...А если подумать, то бедность – это вовсе не плохо. Даже наоборот.

И «народные сказки» (они наряду с пословицами и поговорками тоже являлись воплощением народной мудрости), и сказки передовых для своего времени сказочников Шарля Перро («Золушка», «Кот в сапогах») и Виктора Гюго («Козетта», устная версия в изложении мамы, версия диафильма), и вся советская детская литература, в задачу которой входило формировать новое поколение строителей коммунизма, убеждали меня: бедность – это что-то вроде особой волшебной метки.

Если ты бедный, то непременно хороший.

Это еще и залог прекрасных событий в будущем.

И поскольку я знала, что «слово не должно расходиться с делом» (это тоже народная мудрость), мне пришла в голову

мысль: если у мамы так часто «нет денег» (на что-то такое, что казалось мне важным), то пусть я тогда буду *по-настоящему бедной*. И буду жить с этим чувством – тихо страдая в душе, но ничем не выдавая страданий.

И пусть каждый встречный, взглянув на меня, думает с тихой печалью: «Какая бедная девочка!»

Для решения этой задачи подходили подручные средства в виде рваных колготок. (Почему-то колготки – даже не синтетические, а простые, «в резиночку» – ужасно рвались!) Правда, мне не хватило смелости использовать для создания нужного образа дырки. Но мне и не нужно было, чтобы встречные говорили: «Вот какая неряха!» У них должно было вырываться: «Как же бедно! Но зато... чисто». Поэтому дырки я зашивала. Важно, как зашивала: крепким швом «через край» – черными, белыми, красными нитками, то есть очень далекими от «родного» цвета колготок. В результате колготки были покрыты толстыми разноцветными неправильными «рубцами» – на них, как говорится в народе, места живого не было. И натягивала я их с чувством внутреннего удовлетворения: кто бы мог теперь усомниться, что «мы очень бедны», если моя одежда «в заплатках». И кто бы мог усомниться в моем духовном родстве с Козеттой!

Пару месяцев я последовательно воплощала этот план в жизнь. Но – без видимого результата. Во взглядах встречных почему-то не было сильно выраженного сочувствия и интереса. И мой энтузиазм стал как-то увядать.

А потом наступило лето, и колготки на время «вышли из употребления». Летом идея «показательной бедности» незаметно сошла на нет. И я к ней уже не вернулась – по крайней мере, в виде показательных швов на колготках.

К тому же у меня появилась новая головная боль под названием «тренировочный костюм».

* * *

Тренировочные костюмы были «новым явлением». В 1967-м, когда я пошла в школу, никаких тренировочных костюмов еще и в помине не было. Появились они (прямо как нарочно), когда я ввинтилась в ранний подростковый возраст. А в этом возрасте мир резко меняет свои очертания. Он вдруг начинает делиться на две неравные части – девчачий и мальчишеский. Мальчишеский мир интригующий, притягивает как магнит (хотя причины этого притяжения тебе пока неясны). Но он закрытый. И ты ищешь способ туда проникнуть. Самый простой вариант – какой-нибудь старший брат. А если брат не старший, а младший, то он тебе не помощник. Тогда тебе нужно стать как мальчишка: освоить мальчишеские повадки, мальчишеские умения, мальчишеские игры.

Тренировочный костюм необычайно подходил для решения этих задач. Он был «практичного» темно-синего или черного цвета и состоял из простой майки с длинным рука-

вом и тряпичных штанов (собственно, они-то и назывались «трениками»). Мне особенно нравились широкие резиночки на запястьях и щиколотках.

В тренировочном костюме, безусловно, было что-то «мальчишеское». Женские брюки тогда еще не считались «приличной одеждой». Женщина в брюках была карикатурным образом. Я помню одну такую картинку в журнале «Крокодил»: там была нарисована пара в брюках-клеш и с длинными волосами – как отличить девушку от парня, если смотреть со спины? Ха-ха-ха!

Какие после этого могут быть брюки?

А тут вполне «допустимые» с моральной точки зрения *тренировочные* штаны. Это ж какая свобода движений!

Нет, в таких выражениях я, конечно, не думала. Я просто думала, что человек в тренировочном костюме больше похож на мальчишку, чем человек, у которого такого костюма нет. Я представляла, как положу в задний карман штанов маленький складной ножик и спичечный коробок. Научусь разводить костер и лазить по деревьям. А еще плевать сквозь зубы и свистеть. И тогда *они* не посмеют не признать меня за «своего»...

Наверное, можно довольно точно определить источники, на основе которых я конструировала образ «девчушки с мальчишеским характером». Эти источники по преимуществу были литературными. И многие – довоенными. В них увлекательно описывалось, как мальчишки лазили по дере-

вьям и разорjali гнезда (они лазили за птичьими яйцами). И носили в карманах рогатки. Лазанье по деревьям и стрельба из рогатки символизировали «вольную жизнь» и «удаль».

Но я не желала рассматривать разорение гнезд и расстрел воробьев в качестве составляющих мальчишеского образа. И если уж начистоту, то я никогда не видела, как лязят по деревьям. Рядом с домом, в который мы переехали из коммунальной квартиры, росли четыре старые кривоватые яблони. Но как по ним можно лазить? Забрался на нижнюю ветку, прижался к стволу – и сидишь...

Но зачем придирааться к мелочам? Да и кто бы это стал делать? Мой папа работал тогда в школе-интернате, то есть с утра до вечера, а иногда и по ночам. Моя мама, воспитатель детского сада, по ночам не трудилась, но все равно работала очень много и иногда в две смены, то есть тоже с утра до вечера. И они не имели возможности вникать в такие детали.

Иными словами, мне нужен был тренировочный костюм – просто ужасно нужен.

К лету тренировочные костюмы были уже почти у всех. Так мне по крайней мере казалось. В пионерский лагерь все взяли с собой тренировочные костюмы.

А у меня его не было...

Тем летом я поехала в «папин» лагерь. Обычно я ездила в «мамин» лагерь. А в этот – единственный – раз меня послали в один лагерь с папой. Папа работал воспитателем в первом (самом старшем) отряде. Пересекались мы с ним, прямо

скажем, не часто. Так что меня воспитывали пионерская организация, тетенька из кружка «Живой уголок», дяденька из кружка, где выпиливали лобзиком из фанеры, и пять очень вредных девочек, с которыми нас поселили в одной палате. Но чаще всего я, как Буратино, воспитывалась сама.

Посреди смены я получила посылку. От мамы. Это само по себе уже было событием: до того я ни от кого даже писем не получала. А уж посылки тем более. Я забежала в палату – а там на кровати ящик. Я над ним повозилась, крышка как-то открылась – и... первое, что я увидела, были *те самые* резиночки. Они приветливо выглядывали из-под пакета с конфетками и были веселенького розового цвета. Резиночки! Это он! Желанный мой, тренировочный! Я разворошила посылку – костюм лежал на самом дне. Я не могла поверить случившемуся счастью. Я решила, что сразу надену костюм. Почему я должна откладывать? До обеда еще полчаса. Я успею в нем погулять. Любимый мой, тренировочный!

Я была легкой от счастья, я едва касалась земли. Я обошла вокруг корпуса, обошла маленький домик, где был «Живой уголок», и свернула в аллею, обсаженную кустами желтой акации.

По дорожке, усыпанной гравием, мне навстречу шел папа. Мы с ним, как я уже говорила, редко пересекались. Но если уж пересекались, то радовались друг другу. А сейчас, взглянув на меня, папа изменился в лице и скомандовал: «Быстро в отряд – и переодеться! С ума сошла – в пижаме разгули-

вать!»

Мир дрогнул и тут же утратил праздничную легкость...

И кто же это пошел на такой ужасный обман – приделал к пижаме резиночки, которые по всем правилам принадлежали тренировочному костюму?..

...Осенью мне купили «нормальный» тренировочный костюм.

Пары месяцев не прошло, как у него растянулся ворот, а штаны на коленках обвисли.

* * *

Мама, как ни странно, не возражала против тренировочного костюма, хотя он явно соответствовал «моде». А мама не раз говорила: «Нечего гнаться за модой!» С точки зрения мамы, мода была врагом – и экономной жизни, и чего-то еще (возможно, ее личным врагом).

Но тренировочный костюм, видимо, отвечал маминым представлениям о правильной одежде.

Одежда должна быть:

- а) практичной;
- б) гигиеничной.

А «идет» она человеку или «не идет», воспринималось как сопутствующее обстоятельство.

Что такое практичная одежда? Это значит: немаркая,

прочная и по размеру немного больше, чем надо (то есть «с запасом»). Поэтому: в начале учебного года школьное платье всегда намного длиннее, чем нужно (даже притом что его «подогнули» – естественно, не отрезая ни сантиметра). И пальто при покупке должно на тебе немножко болтаться. И цвет у него должен быть соответствующим.

Школьная форма была воплощением практичности: коричневое платье, а поверх него – черный фартук. Бабушка называла фартук исключительно «передником» (передняя часть одежды – это и защита платья, и его украшение). Фартук покупался отдельно и стоил дешевле платья. В школьной форме еще и последовательно реализовывался принцип заменяемости отдельных элементов: накладной воротничок, накладные манжеты. На рукава, чтобы не протирались в локтях, надеваются черные сатиновые нарукавники.

Что значит «гигиеничность», объяснить сложнее. Это что-то такое, что не вредит здоровью. Зимнее пальто гигиеничнее шубы. Почему? Шуба тяжелее. Значит, стесняет движения в большей степени, чем пальто. А ребенку, сказал Макаренко, нужно двигаться как можно больше. В том числе и зимой. И доктор Спок так сказал.

(Этот американский доктор каким-то образом умудрился внедрить свою совершенно американскую книгу в наши советские семьи во время непродолжительной хрущевской оттепели. И авторитет его не пострадал даже во время холодной войны.)

К тому же шуба дороже. Она, конечно, медленнее изнашивается. Но ребенок ведь быстро растет. А пальто можно перелицевать. Вот кто-то там перелицевал свое пальто (то есть, попросту говоря, вывернул наизнанку и заново сшил все части), и оно стало как новое...

Но иногда возникали проблемы, когда практичность и гигиеничность вступали в жесткую схватку. Взять, к примеру, резиновые сапоги.

Резиновые сапоги появились на свет несколько позже меня. Что означают слова «в мире не существует резиновых сапог»? Это значит, что ты носишь ботинки с галошами. Галоши из толстой черной резины с байковой обшивкой внутри надевались на ботинки или на валенки и главным их назначением было противодействовать одной из самых распространенных опасностей, грозившей в то время детям, – «промочить ноги». Мама ужасно боялась, что мы с братом промочим ноги. Мамину точку зрения разделяло подавляющее большинство других мам. Но мама не просто боялась, что «ребенок промочит ноги». Ее страх можно было легко отнести к «нервной почве». Поэтому я и мой брат почти всегда носили ботинки с галошами – после дождя, во время дождя и если дождь только ожидается.

По радио часто передавали песенку «Купила мама Леше отличные галоши» – о том, как Леша в новых галошах отправился на прогулку, встретил там «босую» кошку и так сильно ее пожалел, что подарил ей свои галоши: «галоши на-

стоящие, красивые, блестящие» (*муз. А. Островского, сл. З. Петровой*). Считалось, что это юмор и все должны помирать со смеху от Лешиного поведения. Но я уже тогда подозревала, что Леша совершил этот поступок не в силу детской наивности (граничащей с идиотизмом), а с целью избавиться от своих «красивых» галош. Потому что ничего «отлично-го» в галошах (кроме рифмы «Леше – галоши») не было и быть не могло. А что плохого в галошах, можно было понять только вдруг оказавшись на улице в ботинках без галош. В первый момент казалось, что ноги твои вот-вот оторвутся от земли и ты взлетишь. Ботинки без галош были чудесно, восхитительно легкими. Но чаще тебе приходилось испытывать двойственное чувство: галоши были так устроены, что одна из них время от времени слетала – почему-то только одна. Такому поведению галоши пытались препятствовать – в носок подкладывали ватку или бумажку, но она все равно слетала. И вот одна нога твоя вдруг оказывается поразительно легкой, а вторая по-прежнему волочится, как в колодке.

Если бы неудобства, связанные с галошами, этим исчерпывались! Но галоши еще и оказывались причиной семейных раздоров.

Воскресенье. Папа в кои-то веки дома. И мы всей семьей собираемся ехать гулять в парк Сокольники. Мама, естественно, считает, что дети должны быть в галошах: начало апреля, земля сырая, ботинки сразу промокнут.

Мы выходим на улицу.

Папа окидывает нас взглядом и спрашивает с отвращением:

– Что это за уродство?

Он имеет в виду галоши. Папа очень чувствителен к эстетическим проявлениям жизни.

Мама хмурится и говорит про лужи и мокрые ноги.

– Какие лужи? – взвизгивает папа. – На улице солнце! А в парке – дорожки. Нормальные люди ходят без всяких галош.

– Ты считаешь, что дети во время прогулки должны ходить по дорожкам?.. – возражает упрямая мама.

На прогулке дети должны активно двигаться. Нельзя заставлять их думать о том, что они могут испачкаться или наступят в лужу. Такую возможность нужно просто предусмотреть. Об этом мама читала в книге доктора Спока. И разве не папа подарил маме эту книгу? Но если доктора Спока мало, то Макаренко тоже...

Но папа нечувствителен к подобным аргументам:

– Будут ходить как люди. И не будут лезь в грязь. А ну, снимайте галоши!

И как воспринимать подобное освобождение от галош? Понятно ведь, что за него придется чем-то платить. И уже вполне ощутимы и мамино напряжение, и папино недовольство. Семейный выход как-то сразу не задается...

Вот как бытие способно определять сознание. Как оно влияет на семейные отношения.

И вдруг появляются... резиновые сапоги!

Они не слетали с ног. Они были гораздо легче. Риск промочить ноги в луже они сводили к нулю (если, конечно, не лезть в очень глубокую лужу, когда вода заливается в сапоги через край). И они, наверное, были более эстетичными. Так по крайней мере казалось.

Но мама долгое время была настроена против резиновых сапог. Резина на босу ногу – это так негигиенично! Резиновые сапоги вызывают у детей ревматизм. (То же самое говорили потом о кедах.)

Кто, где, когда видел детей в резиновых сапогах на босу ногу?! И откуда известны последствия использования сапог?

Ну ладно... если только в шерстяных носках и со стельками...

Это «только» означало настоящую гардеробную революцию! Конечно, в носках и со стельками. Долой ботинки с галошами!

Резиновые сапоги, скажу я вам, это важнейшее человеческое изобретение. И наглядное доказательство технического прогресса.

4

Технический прогресс был богом шестидесятых. То есть так, конечно, никто не говорил. Слово «бог» использовалось исключительно для насмешек и для каких-нибудь разоблачений. В кукольном театре Сергея Образцова шел спектакль про бога, про сотворение мира. Взрослые зрители хохотали. Правда, я не совсем понимала, над чем они так смеются. У Адама, первого человека, жена была очень вредной, и эту жену «убрали». Вместо старой жены Адаму сделали новую, из его же ребра, которое бог вытащил у него во время сна. Из этого тоже хорошего не получилось... Но мама с папой очень смеялись (папа, тот хохотал до слез). И это было так заразительно, что я тоже смеялась.

Мама мне объясняла, что в бога верят только безграмотные старухи. Они думают, что бог сидит на облаках и оттуда следит за людьми. Развитие авиации посрамило старух. Самолеты тысячу раз летали сквозь облака – и бога никто не видел. Мама тоже два раза летала на самолете. Больше всего ей запомнились кисленькие конфетки, которые стюардессы всем раздавали бесплатно.

В «мое время» у мамы с папой (и у многих других взрослых) вместо бога был Технический Прогресс. Особенно после полета Гагарина.

Через месяц после того, как мне исполнился год, папа во-

рвался домой, размахивая газетой (рассказывала мама). Он весь сиял, подпрыгивал от возбуждения и что-то громко выкрикивал – мама даже слегка испугалась. А потом разобрала слова: «Человек! Человек в космосе!»

Это было настоящее чудо. Рукотворное чудо! И оно вселяло надежду: скоро жизнь совершенно изменится! Мы заселим иные миры, а на всех тяжелых работах будут трудиться роботы. И везде будет коммунизм, то есть рай на земле. Конечно, пока это только прекрасные перспективы...

Но влияние технического прогресса все-таки ощущалось даже в обычной жизни.

Взять хотя бы нейлоновые рубашки...

Для папы было немислимо выйти из дома в несвежей, плохо выглаженной сорочке или в нечищенных брюках без стрелок. На кухонный стол стелилось байковое одеяльце, оставшееся от моего грудничкового периода. Папа ставил на газовую плиту чугунные утюги (обычно два – чтобы менять их во время глажки), растягивал брюки на одеяльце и накрывал тонкой мокрой тряпкой. Потом проверял, достаточно ли разогрелся утюг: если утюг на каплю воды ответит злобным шипением – значит, он готов к употреблению. Мокрая тряпка под утюгом тоже шипела, от нее поднимался пар. Стихло шипение – значит, утюг остыл. Его возвращают на газовую плиту и берут другой, разогретый. Тряпку требовалось время от времени сбрызгивать: для этого папа набирал в рот воды и фонтанчиком выплевывал на тряпку. Меня тоже учи-

ли так делать. Не так-то просто научиться плевать фонтанчиком. Тут нужны тренировки...

И вдруг появляются нейлоновые рубашки. Рубашки, которые не нуждаются в глажке! Никаких утюгов и фонтанчиков. Счастливый своей приобщенностью к высшим достижениям человечества, папа стирал рубашки (в тазу, хозяйственным мылом), потом сильно встряхивал и развешивал сушиться в ванной. А на следующее утро демонстрировал всем рубашку, готовую к употреблению...

Но маме не нравились нейлоновые рубашки. Они были «из нефти» и не могли считаться гигиеничными. Вообще мамины отношения с техническим прогрессом складывались сложно. Да, она смеялась над невежественными старухами. Она с удовольствием пересказывала папины споры с его собственной бабушкой, которая верила в бога. По словам мамы, папа в юности изводил свою бабушку атеистической пропагандой. В изложении мамы, бабушка защищалась очень смешно: она говорила, что бог невидимый и просто не хочет показываться летчикам.

Но в целом мамино отношение к достижениям технического прогресса было, мягко сказать, настороженным. Опасливое недоверие вызывали у нее не только резиновые сапоги (а потом кеды и шариковые ручки) и нейлоновые рубашки (а также капроновые чулки и синтетические колготки), но даже такое передовое техническое устройство, как телевизор.

Папа, естественно, купил телевизор, как только телевизоры появились в продаже. Мне тогда было три месяца. Я представляю, как папа в течение долгого времени откладывал деньги, брал дополнительные ночные дежурства... Как он наконец собрал нужную сумму, как побежал в магазин, как притащил из магазина коробку... Как потом устанавливал и настраивал это смешное уродливое сооружение, напоминавшее (из-за линзы) заблудившийся иллюминатор. Как папе казалось, что он прикасается прямо к сердцу технического прогресса...

И вдруг через две недели мама возьми и скажи: «Лучше поменьше включать телевизор». Воздействие телевизора на человека еще слабо изучено. Вполне возможно, он что-то излучает. Что-то такое, что может быть вредно для малыша (для меня).

То есть мама сказала, что ТЕЛЕВИЗОР – ВРЕДНАЯ вещь.

Мама выступила против Технического Прогресса! И ладно бы это были нейлоновые рубашки. Но это Сам Телевизор, окно в прекрасное будущее!

Я представляю, что стало с папой. Как его захлестнула волна праведного гнева. И представляю себе выражение мамино лица. Такое лицо бывало в кино у защитников баррикад. Папа кричал, обвиняя маму в приверженности диким слухам. А мама упорно сопротивлялась, повторяя: возможно, он что-то излучает. Излучает и облучает. А облучение,

как известно, возникает при взрыве атомной бомбы. (Мама боялась даже упоминания атомной бомбы: после взрыва атомной бомбы возникает лучевая болезнь.)

Но силы у мамы кончались: папа, очевидно, брал верх. К тому же мама совершенно не выносила крика. И она прибегла к последнему средству, которое ей оставалось: она сослалась на доктора Крисмана, участкового педиатра, который недавно приходил «осматривать грудничка». Это будто бы доктор Крисман, похлопав младенца (меня) по животу, посоветовал больше гулять с ребенком (четыре часа в день, не меньше, а то будет рахит) и пореже включать телевизор. Потому что... и дальше о том, что его излучения пока еще не изучены...

А-а-а!

Папа сорвался с места и побежал в детскую поликлинику. И устроил скандал: кто такой доктор Крисман? Это советский врач? Может ли врач распускать такие дикие слухи? Это значит, он против технического прогресса! Против развития общества! Против социализма! Это не детский врач, а...

...настоящий вредитель!..

Даже спустя 11 лет у мамы, которая пересказывала мне эту историю, на словах «не врач, а вредитель...» срывался голос. И она торопилась сказать: с доктором Крисманом ничего не случилось. Его просто перевели на другой участок. К нам он больше не приходил. Я так об этом жалела!..

Иногда мама добавляла: вот в 1952-м было «дело врачей». Тогда многих врачей объявили вредителями... Я не могла тогда устроиться на работу. Вообще никуда. Из-за этого меня чуть не выгнали из института...

Мама сначала училась на вечернем. Там требовалось предоставлять справку с места работы...

И мама передергивала плечами...

* * *

В детстве я побаивалась иностранцев. Они приезжали из-за границы, гуляли по Красной площади и высматривали какого-нибудь слабохарактерного ребенка. А как высмотрят, сразу подзывают к себе и угощают «жевачкой».

Мы говорили «жевачка» – то, что надо «жевать». Каждый советский ребенок слышал: где-то на свете существует «жевачка». И будто бы чей-то папа ездил в какое-то тридевятое царство (куда обычному смертному никогда не попасть) и привез оттуда «жевачку». И потом его сын (или дочка) *жевал (жевала)*, и получал(а) от этого невыразимое удовольствие.

В то же время все знали: жвачка – американская, и она запросто может оказаться отравленной. И если ребенку на Красной площади какие-нибудь интуристы вдруг предложат жвачку и ребенок поддастся и станет ее жевать, то он отравится насмерть. Так что, если с тобой такое нечаянно про-

изойдет, если тебе «подарят» жвачку, нужно сразу же подойти к своему воспитателю, или учителю, или милиционеру и отдать ему этот «подарочек». Пусть взрослый сам его выкинет...

Но интуристы, конечно, не шли ни в какое сравнение с теми вредителями и шпионами, которые были в нашей стране, когда папа был маленьким. В «его время» Советский Союз просто кишел вредителями. И шпионами. И врагами народа. Все газеты пестрели словами: вред, вредители, навредить. И по радио говорили: навредили, вредители.

«Граждане! Будьте бдительны! Кругом враги и вредители!»

Когда папа подрос, они опять появились, хотя и под новой личиной.

Внутренние враги опять угрожали советскому строю. Все советские дети (папа не исключение) знали об этом и были готовы врагам противостоять.

Эта готовность так въедается в память... Проходит какое-то время, и она вдруг выскакивает как чертик из табакерки...

...«Чертик из табакерки» – крылатое выражение?

* * *

Папа будто бы помнит бабушкины интонации, как она говорит:

– Мой муж не враг народа...

– Нет, он не враг народа...

– Он никакой не враг...

Папа не мог ответить, был ли он в кабинете следователя вместе с бабушкой или ждал в коридоре. Ему было три года.

Зато он помнил, как ему нравилось ездить с бабушкой на Лубянку.

Бабушка говорила: «Завтра мне нужно ехать „в центр“». И маленький папа не мог дождаться, когда же наступит «завтра». Потому что «в центр» они ехали на метро! А метро – это ж достижение технического прогресса: там поезда, там «лесенка-чудесенка»! (Моя мама называла эскалатор исключительно «лесенкой-чудесенкой» – как было написано в одной послевоенной книжке.)

Метро в Москве запустили в год папиного рождения. Самая первая линия на сегодняшних схемах красная. И они ехали от станции «Сокольники» до станции «Площадь Дзержинского» (до нынешней «Лубянки»)...

Однажды приехали, а в кабинете – следователь-женщина: до этого с бабушкой «беседовал» мужчина. И женщина-следователь вдруг предложила бабушке сесть.

– Мы во всем разобрались. Ваш муж невиновен. В ближайшее время его отпустят домой. (Так рассказывал папа.)

Тут бабушка упала. Папа не то чтобы помнит, как бабушка упала. Папа помнит какой-то звук, который его напугал. И будто бы женщина-следователь вышла из кабинета и потом

вернулась со стаканом воды...

Слова «Ваш муж невиновен» папа произносил торжественно и строго. И добавлял: «Отца выпустили. Перед ним извинились. Он вернулся домой, дома устроили праздник. Меня разбудили ночью. Я проснулся и вижу – папа, осыпает меня конфетами. Есть такой древний обычай...»

Про обычай с конфетами было не очень понятно...

В общем, дедушку выпустили. Да еще извинились.

Это «воспоминание», или, точнее, «знание», хранилось в каком-то отдельном ящичке папиной памяти.

...А в табакерке сумел прижиться чертик...

* * *

Мама не просто так рассказала про доктора Крисмана. С помощью этой истории она объясняла, почему мне по будним дням нельзя смотреть телевизор. Сон – основа здоровья. Сон до двенадцати ночи – самый полезный сон. Поэтому нужно ложиться спать в половине десятого вечера (а еще лучше – в девять часов), тогда утром легко просыпаться. И голова будет «свежей». И много успеешь сделать (мама вставала без пятнадцати шесть, а иногда и раньше).

Но это были такие скучные объяснения! А история с доктором Крисманом все совершенно меняла.

Я ложилась спать в половине десятого вечера. И из-за этого не смотрела какой-нибудь эканский фильм, который

смотрели до двенадцати ночи все мои одноклассники— в ущерб полезному сну. Пробудить в них сочувствие к моим жизненным обстоятельствам – мне по будням не разрешают смотреть телевизор! – не представляло возможности. Надо мной просто потешались.

Но я так как будто расплачивалась с судьбой— за то, что доктора Крисмана 11 лет назад перевели работать на другой участок. И это утешало...

5

У меня было много разных желаний. Но на свой «деньрождение» я никогда ничего не просила. Даже после того, как папа заставил меня признать, что «деньрождение» – «он»:

– Что еще за «деньрождение»? День – это «он»! Мужской род!

Мне потребовались некоторые усилия, чтобы привыкнуть к новому взгляду на вещи. Но принадлежность к мужскому роду не отменяла сути этого замечательного события: мир начался с меня!

Тем не менее на «деньрождение», а потом и на день рождения я никогда ничего у родителей не просила. Возможно, это было побочным эффектом «игр» с волшебной палочкой и одним из маминых педагогических достижений.

А может, мне нравилось играть с судьбой в «секретики»: пусть подарок на «деньрождение» окажется неожиданным. И пусть это будет именно то, что способно меня осчастливить.

А еще дело было в родителях. Это ведь привилегия – дарить кому-то подарки. Это значит демонстрировать свое могущество, проявлять свою волю. И для родителей было важно дарить подарки, которые выбирали они. Подарок – это такой «агент влияния»: попадая к ребенку, он несет на себе

печать родительского внимания и их тайного воспитательно-го умысла.

И если ребенок радуется подарку, значит, как бы признает, что родитель Любящий, Добрый и Сильный.

Но...

Мама пыталась подстраховаться. В качестве подстраховки она привлекала народную мудрость «Дареному коню в зубы не смотрят». Последовательно исповедуя принцип «все объяснять ребенку», мама пыталась донести до меня смысл этой пословицы: раньше, покупая коня, человек первым делом раскрывал ему пасть и смотрел зубы. Хорошие зубы – значит, и конь хороший, здоровый. Гнилые зубы – значит, конь больной или старый. Но если тебе коня дарят (если конь достается тебе «просто так», бесплатно), то требовать, чтобы он был молодой и здоровый, нельзя: бери что дают. И радуйся тому, что дали.

Однако мама все-таки многое понимала – и про своих детей, и про «деньрождение». Мы с братом не хотели, чтобы нам подарили книжку (ах, как стыдно, но я совсем не хотела в подарок книжку) или что-нибудь из одежды. Я хотела игрушку. Уже училась в школе, а все хотела игрушку – и в четвертом классе, и в пятом. Какую-нибудь замечательную. Не то чтобы у нас было мало игрушек. Но все-таки не так много. Все игрушки были «сосчитаны», у всех были имена и «особое предназначение». И нужны были новые – катализаторы для фантазии... День рождения был таким праздником, ко-

гда (так считали мы с братом) нам полагались игрушки. И когда мама выбирала для нас подарки, прибегать к мудрости про дареного коня обычно не приходилось.

Что касается папы, то он очень много работал. Он работал с утра до вечера, а иногда даже ночью. (Но не так, как работали люди до революции, при царе. В советской стране все работали, потому что это была «страна трудового народа». И папу, в отличие от того, что было до революции, никто не эксплуатировал: в нашей стране не осталось эксплуататоров. Теперь они все обитали на загнивающем Западе... И потом, папе нравилось работать с утра до вечера.) Папа работал в школе-интернате. Утром у него были уроки, русский с литературой, а во второй половине дня он работал как воспитатель. И несколько раз в месяц дежурил по ночам: у интернатских педагогов, как у больничных врачей, были ночные дежурства. Поэтому неудивительно, что у папы образовался некоторый недостаток информации обо мне. Восполнял его папа с помощью произведений литературы и талантливого советского кино.

Тут, конечно, могли возникнуть противоречия. С одной стороны, папа обожал фильм «Гусарская баллада». И некоторые книги, героиням которых мой тренировочный костюм очень бы подошел. Но, с другой стороны, папа много знал наизусть из Пушкина. А у Пушкина было: «Три девицы под окном пряли...». И Царевна-лягушка опять же заработала похвалу тем, что смогла вышить царю праздничную рубаху...

Накануне моего десятилетия папа отправился выбирать для меня подарок в магазин «Лейпциг». Там продавались товары, произведенные «братским трудовым немецким народом» из ГДР (Германской Демократической Республики). ГДР была «хорошей» страной. После войны в этой части Германии установился социалистический строй (взял и установился), и ГДР вступила в Варшавский договор – военный союз стран социализма, созданный в противовес военному блоку НАТО (куда входили «плохие» страны – капиталистические).

В магазине «Лейпциг» можно было купить что-то совсем неожиданное (я бы даже сказала, немыслимое), от одежды до игрушек. И вот папа внезапно увидел там вещь, которая разом вытеснила из его головы девочек в тренировочных костюмах. Он, наверное, тут же представил меня, свою дочь, в образе некой сказочной Варвары-красы, длинной косы. И так живо представил, что отстоял длинную очередь (а как же иначе, без очереди?) и купил эту *вещь*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.